

ЖИВАЯ КЛАССИКА

ОЛЕСЯ

АЛЕКСАНДР КУПРИН



Живая классика (ДетЛит)

Александр Куприн

Олеся. Повести и рассказы

Издательство «Детская литература»

1898-1911

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Куприн А. И.

Олеся. Повести и рассказы / А. И. Куприн — Издательство
«Детская литература», 1898-1911 — (Живая классика (ДетЛит))

ISBN 978-5-08-007577-3

В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938): «Олеся», «Изумруд», «В цирке», «Суламифь», «Гранатовый браслет». Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 978-5-08-007577-3

© Куприн А. И., 1898-1911
© Издательство «Детская
литература», 1898-1911

Содержание

Александр Иванович Куприн	8
Олеся	10
I	10
II	14
III	17
IV	23
V	27
VI	31
VII	34
VIII	36
IX	40
X	42
XI	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Александр Куприн

Олеся



А. Куприн

1870—1938

© Петров М. Ф., наследники, иллюстрации, 1997

© Оформление серии, вступление, примечания. АО «Издательство «Детская литература», 2026

Александр Иванович Куприн

Александр Иванович Куприн родился в 1870 году в городе Наровчат Пензенской губернии. Отец его был чиновником и, когда мальчику не было и двух лет, умер от холеры. Мать же, несмотря на то что была княжеского рода и получила хорошее образование, после смерти мужа жила с сыном в бедности во вдовьем пансионе. И как только можно было отдать мальчика учиться – отдала его в Разумовский пансион. Позже Александр окончил Московскую военную гимназию и юнкерское училище. Мать надеялась, что ему будет уготована престижная военная карьера, но служил он недолго – вышел в отставку. Еще во время военной службы Александр Иванович начал писать и публиковаться в журналах.

Куприна по праву называют мастером рассказа, ведь для того чтобы писать о чем-то, а не выдумывать – надо знать жизнь, о которой пишешь. Куприн попробовал много профессий: он разгружал арбузы, учился на зубного техника, работал корреспондентом в газетах, был театральным актером, думал постричься в монахи, строил дома, растил табак, был клоуном, ездил на гастроли, работал на сталелитейном заводе... Что интересно – каждое из его новых увлечений вдохновляло писателя на какой-то рассказ или повесть. После работы в цирке появились «Белый пудель», «Барбос и Жулька», «В цирке». А по воспоминаниям о военной службе написаны «Кадеты», «Юнкера»...

Когда началась Первая мировая война, Куприн был мобилизован, но через год уволен по состоянию здоровья. Во время Февральской революции писатель поддержал восставших, однако после Октябрьской революции не понял «политику военного коммунизма». Он встретился с В. И. Лениным, попробовал работать с новой властью, и все же в 1920 году эмигрировал и оказался в Париже.

Куприн публиковался в эмигрантских изданиях, написал несколько романов и, когда в 1937 году советское правительство пригласило его вернуться, он согласился. Приехал на родину Александр Иванович больным и уставшим человеком. Куприну создали идеальные условия. Свой последний год жизни он провел в Ленинграде, под присмотром врачей, окруженный товарищами и почитателями его таланта. В 1938 году великий писатель умер и был похоронен на Литераторских мостках в музее-некрополе рядом с Иваном Тургеневым.



Олеся



I

Мой слуга, повар и спутник по охоте – полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

– У, какой ветер, паныч, на дворе, – сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. – Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

– Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

– Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и – а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, – думал я, сидя в вагоне, – совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать – так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной

маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, – отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай Буг», что должно было обозначать: «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и всё порывались целовать у меня руки – старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки – хотя это сначала казалось мне неприятным – я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в середине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне этого не полагается... Что у тебя болит?»

– В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть середине, так что даже ни пить, ни есть не могу.

– Давно это у тебя сделалось?

– А я знаю? – отвечает она также вопросом. – Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

– Да вы не беспокойтесь, – посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, – сами вылетят. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю – нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» – «Я, – говорит, – больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!..» Нюхает...

«Что, легче?» – «Як будто полегшало...» – «Ну, так и ступай с Богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

– Что тебе, Ярмола? – спросил я.

– Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, – смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. – Мне бы только мое фамилие...

– Зачем это тебе? – удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброеде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: – Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

– А видите, какое дело, паныч, – ответил Ярмола необыкновенно мягко, – ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы – заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, – такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа – все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, – этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

– Ну скажи, Ярмола, – «ма». Просто только скажи – «ма», – приставал я к нему. – Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори – «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

– Нет... Не могу...

– Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто – «ма», вот как я говорю.

– Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

– Мне бы только мою фамилию! – застенчиво упрашивал он меня. – Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук – и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмолу, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

– Ну, Ярмола, давай учиться, – говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

– Писать?

– Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву – «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

– Что ж ты не пишешь? Забыл?

– Забыл... – досадливо качал головой Ярмола.

– Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

– А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... – оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуя глаза.

– Что же ты стал? Пиши дальше...

– Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

– Так же, как первая?

– Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы – «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

– А что вы думаете, панычу, – говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, – если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой.

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою бог весть откуда врывается этот страшный гость и в мою комнату, пробегает внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола – странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

– Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

– Ветер? – отозвался Ярмола, лениво поднимая голову. – А паныч разве не знает?

– Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

– И вправду не знаете? – оживился вдруг Ярмола. – Это я вам скажу, – продолжал он с таинственным оттенком в голосе, – это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

– Ведьмака – это колдунья, по-вашему?

– А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, – думал я, – может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с волколаками?..»

– Ну а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? – спросил я.

– Не знаю... Может, есть, – ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. – Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмола была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

– Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

– Куда же они ее прогнали?

– Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла^{*} и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

– За что же так с ней обошлись?

– Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодницы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». – «Ну, добре, – говорит, – будешь ты помнить, как мне злото не дала...» И что же вы думаете, паньчу, с тех самых пор стало у молодницы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

– Ну а где же теперь эта ведьмака? – продолжал я любопытствовать.

– Ведьмака? – медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. – А я знаю?

– Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

– Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганок... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам в село. И девочка с ней была – дочка или внучка... Обоих прогнали...

– А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

– Бабы бегают, – пренебрежительно уронил Ярмола.

– Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

– Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете – болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясца ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полеская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

– Послушай, Ярмола, – обратился я к полесовщику, – а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

– Тьфу! – сплюнул с негодованием Ярмола. – Вот еще добро нашли.

– Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

– Я?! – воскликнул он с негодованием. – А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду!

– Ну вот, глупости, пойдешь.

– Нет, паньчу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! – опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. – Чтобы я пошел до ведьма-чьего кубла? Да пусть меня Бог боронит. И вам не советую, паньч.

– Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

– Ничего там нет любопытного, – пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

– Как зовут эту ведьму?

– Мануйлиха, – ответил Ярмола с грубой мрачностью.

¹ Слова и выражения, отмеченные в тексте знаком *, объясняются в примечаниях на с. 297–302.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку – Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

– Нужно ружья почистить, паныч.

– А что? – спросил я, потягиваясь под одеялом.

– Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

– Ну, теперь будем обходить его, – сказал Ярмола. – Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... – Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. – Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы – нежилой развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, залихватый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У – бый! У – бый!», первый слог – протяжным резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнался за зайцем.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

– Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? – крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

– Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился:

– Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, – он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, – подумал я. – Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные веточки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку* и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили вниз в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплюю обрывающуюся фистулу:

– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? – спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

– И верно, батюшка, совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на заваulinke посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разобрал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой – неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит – чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? – спросил я, возвышая голос.

– А вон, в кадке, – кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

– Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне и действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

– Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, – поддразнил я ее, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

– Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, – прошамкала она, с трудом поднимаясь с полу. – Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сторбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

– Сыми-ка... Лево́й ручко́й сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

– Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь, богат будешь... – запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

– Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, – начала она привычной скороговоркой. – Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскоро-сти получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

– Ну иди, иди теперь, соколик, – тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. – Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

– Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, – воскликнула она, громко смеясь, – посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

– Вот барин зашел... Пытает дорогу, – пояснила старуха. – Ну, батюшка, – с решительным видом обернулась она ко мне, – будет тебе прохладиться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

– Послушай, красавица, – сказал я девушке. – Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

– Это у тебя всё ручные птицы? – спросил я, догоняя девушку.

– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. – Ну вот, глядите, – сказала она, останавливаясь у плетня. – Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

– Вижу...

– Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати – двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубашка свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

– Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? – спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами.

– Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

– Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

– И слава богу! – махнула она пренебрежительно рукой. – Как бы нас с бабушкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

– А то что?

– Много будете знать – скоро состаритесь, – отрезала она. – Да вы сами-то кто будете? – спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержанных», и поспешил ее успокоить:

– О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом – я никакое начальство.

– Нет, вы правду говорите?

– Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

– Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

– Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно – заблудился... Ну а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

– Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник – тащит, приедет становой – тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабушкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

– А тебя не трогают? – сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество.

– Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, – с тобой и впрямь опасно шутить».

– А мы разве трогаем кого-нибудь! – продолжала она, проникаясь ко мне все бóльшим доверием. – Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, – чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

– Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и – как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

– Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

– Ты боишься?

– Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. – И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. – А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, – заторопилась она. – Не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

– Постой, постой! – крикнул я. – Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

– Аленой меня зовут. По-здешнему – Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

– Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

– А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? – сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

– Отчего же мне не знать? – грубо проворчал Ярмола. – Известно, к ведьмакам ходили...

– Как же ты узнал это?

– А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! – прибавил он с укоризненной досадой. – Не следовало вам такими делами заниматься... Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как всегда на Полесье – неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, – тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, – поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах, – думал я, – есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности – эта гордая уверенность в своих силах, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудрёного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахара.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряталась, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверь, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатило по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

– Здравствуй, бабуся! – сказал я громким, бодрым голосом. – Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

– Ничего не помню, батюшка, – зашамкала старуха, недовольно трясая головой, – ничего не помню. И что ты у нас позабыл, – никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

– Не бойся, бабка, – сказала она примирительно, – это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, – прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

– Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гость на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, – сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

– Никаких мне твоих гостинцев не нужно, – проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. – Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? – вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке.левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

– А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, – произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: – Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

– Да, гадала. А что?

– Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите? – кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

– Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

– Нет, вообще...

– Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почему знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

– Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

– Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трюфевый интерес... Я и позабыл даже.

– Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

– Чего же она боится?

– Известно чего, – начальства боится... Урядник приедет, так завсегда грозит: «Я, – говорит, – тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, – говорит, – что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

– Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

– Гадаю... Только не за деньги, – добавила она поспешно.

– Может быть, ты и мне кинешь карты?

– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

– Нет. Не стану. Ни за что не стану.

– Ну уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

– Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

– Нет, нет, нельзя... нельзя... – зашептала она с суеверным страхом. – Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все врожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

– Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? – попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

– Нет... Лучше не надо, – сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. – Пожалуйста, не просите... нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобраться: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

– Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, – согласилась наконец Олеся. – Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете – богатым никогда не будете... Говорить дальше?

– Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

– Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно, – карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

– Что же случится в этом году? – спросил я, когда она опять остановилась.

– Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трезовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

– Что вы смотрите? – покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. – Ну да, вроде моих, – продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

– Так ты говоришь – большая трезовая любовь? – пошутил я.

– Не смейтесь, не надо смеяться, – серьезно, почти строго, заметила Олеся. – Я вам все только правду говорю.

– Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

– Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

– Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

– Ну уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, – не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стряется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

– И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

– И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

– Что же ты видишь у него в лице?

– Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг делается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине* удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые Святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевелинуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести... Всю ночь его били... Злой у нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

– Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

– А зачем говорить? – возразила Олеся. – Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать – это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

– Иди ужинать, Олеся, – позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне: – может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника – похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей – чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Сядя за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

– Хотите, я вас провожу немножко? – предложила Олеся.

– Какие такие проводы еще выдумала! – сердито прошамкала старуха. – Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

– Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

– Ну ладно, уж ладно, верченая, – слабо отбивалась от нее старуха. – Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну поднимали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» – первого цветка Полесья.

– Послушай, Олеся, – начал я, – мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?

– Колдунья? – спокойно помогла мне Олеся.

– Нет... Не колдунья... – замялся я. – Ну да, если хочешь – колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?... Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

– Нет, отчего же, – отозвалась она просто, – что ж тут неприятного? Да, она правда колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

– Что же она умела делать? – любопытно спросил я.

– Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

– Знаешь что, Олеся?... Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мной откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это – одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

– Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

– Значит, ты твердо веришь колдовству?

– Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

– Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

– Отчего же, покажу, если хотите, – с готовностью согласилась Олеся. – Сейчас желаете?

– Да, если можно, сейчас.

– А бояться не будете?

– Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

– Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

– Что ты хочешь делать? – спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

– А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

– Не бойтесь, живы останетесь, – усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

– Ну что? Довольно с вас? – с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. – Хотите еще?

– Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

– Что бы вам такое показать? – задумалась она. – Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

– А это не будет страшно? – спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

– Нет, нет... Пустяки... Идите...

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

– Идите, идите! – закричала Олеся. – Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

– Ну что? Довольны? – крикнула она, сверкая своими белыми зубами. – Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

– Как ты это сделала? – с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. – Это не секрет?

– Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить.

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера*, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

– О! Я еще много чего умею, – самоуверенно заявила Олеся. – Например, я могу нагнать на вас страх.

– Что это значит?

– Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

– Ну уж это совсем просто, – усомнился я. – Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

– О нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так – смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы – работа уж не помню какого художника*. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

– Ну полно, полно, Олеся... будет, – сказал я с деланным смехом. – Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, – тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

– Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла.

– Да я вовсе не умею и читать-то.

– Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

– Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не смотрите, что она такая с виду! У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

– Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

– Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора, – заторопилась Олеся, – бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

– Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле prolongировать дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня спрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве Земли и Вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

– Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрывшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

– Что такое Петербург? Местечко?

– Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

– Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? – наивно пристала она ко мне.

– Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

– Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? – уверенно спросила Олеся.

– О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

– Ах, боже мой! Какие же это дома? – почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

– Ужасные дома. В пять, шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

– Самую большую? Вижу.

– Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде;

случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

– Ну уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, – сказала Олеся, покачивая головой. – Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно делается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, – так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

– Ну а если твой муж будет из города? – спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

– Вот еще! – сказала она с пренебрежением. – Никакого мне мужа не надо.

– Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и всё же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь – тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

– Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, – досадливо отмахивалась она. – Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

– Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты – такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарок будет.

– Ну что ж – и полюблю! – сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. – Спрашиваться ни у кого не буду...

– Стало быть, и замуж пойдешь, – поддразнил я.

– Это вы, может быть, про церковь говорите? – догадалась она.

– Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

– Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

– Всё из-за колдовства вашего?

– Да, из-за нашего колдовства, – со спокойной серьезностью ответила Олеся. – Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

– Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

– Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, – она крепко приоткрыла руку к груди, – в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторрах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, – Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, поверю, – говорила она, возвышая голос в увлечении спора, – а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и

тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы всё сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолкой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в его лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолку учиться, он только махал рукой.

– Куда там! Пустое это дело, паньч, – говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я поднимал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паньч... нужно пашню сегодня орать», – чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

– Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, – сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

– Нет... что же у нас могло случиться особенного? – произнесла она глухим голосом. – Все как было, так и осталось.

– Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

– Право же, ничего нет... Так... свои заботы, пустячные...

– Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри – ты сама на себя непохожа сделалась.

– Это вам так кажется только.

– Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

– Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, – с нетерпением возразила Олеся. – Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

– Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, – повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

– Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, – говорила Мануйлиха, – а потом и пошел и пошел. «Выбирайся, – говорит, – из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, – говорит, – я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, – говорит, – солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск*... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты господи, несчастье мое!

– Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? – спросил я.

– Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

– Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

– Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

– Бабушка, а может быть, все это вранье одно? – заметил я. – Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

– Давала, родной, давала. Не берет! Вот история... Четвертной билет давала – не берет... Куда тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

– Бабушка! – укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

– Чего там – бабушка! – рассердилась старуха. – Я тебе уже двадцать пятый год – бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

– Есть врядник, – проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

– Что такое? – спросил я в недоумении.

– Говорю, что врядник приехал, – повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. – Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарыхтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влѣк высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, – другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

– Мое почтение, Евпсихий Африканович! – крикнул я, высовываясь из окошка.

– А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? – отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

– Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

– Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело – утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

– Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

– Не могу-с. Долг службы...

– Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребке как детей родных воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

– Ведь вот вы какой, право, – с упреком сказал урядник. – Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

– Какое сливянка! – махнул я рукой. – Старка, батюшка, вот что!

– Мы, признаться, уж подзакусили, – с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

– Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах – прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

– Эх! Что вы со мной делаете! – воскликнул в комическом отчаянии урядник. – Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет... Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африкано-вич, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания.) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

– Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? – спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я наконец замолчал, он только спросил:

– Ну, так чего же вы от меня хотите?

– Как чего? – заволновался я. – Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, незащитные женщины...

– И одна из них прямо бутон садовый! – ехидно вставил урядник.

– Ну уж там бутон или не бутон – это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

– Как чем я рискую-с? – взвился с кресла урядник. – Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расхорившегося урядника:

– Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете всё это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

– Фью-ю-ю! – протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. – Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

– Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

– По че-ло-ве-че-ству? – иронически отчеканил он каждый слог. – Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

– Ну уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

– Ни капельки не слишком-с. Это – «язва здешних мест»*, по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

– Нет, не приходилось.

– И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

– Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

– Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

– Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? – Я. Кого из службы по шапке? – Меня. Видите, какая штукаенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

– Ну а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович? – начал я опять умильным тоном. – Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

– Хорошенькое у вас ружьишко, – небрежно уронил он, не переставая барабанить. – Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

– Да, ружье недурное, – похвалил я. – Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

– Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

– У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, – сказал я любезно. – Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

– Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

– Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, – говорил он, громко стуча о пол неналежавшими калошами. – Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

– Ну а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? – деликатно напомнил я.

– Посмотрим, увидим... – неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. – Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

– Сам вырастил.

– Удивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того... пучочек один.

– С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

– Ну и маслица... – милостиво разрешил урядник. – А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, – вдруг возвысил он голос, – что одним

спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно шепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, – она делала вид, что не понимает их значения.

Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно-грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, – все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, – точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и

слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелких, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньше, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий – порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора...

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами... Но – странное дело – в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной злоеющей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» – с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание... Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игрищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправались, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

Х

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избышки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

– Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

– Ах, зачем я не знала, что вы захворали! – воскликнула она с нетерпеливым сожалением. – Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

– Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно всё сердилась на меня или надоел я тебе... Послушай, Олеся, – прибавил я, понижая голос, – нам с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

– Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

– Собирайтесь, собирайтесь скорее, – говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. – Если вас теперь сыростью охватит, – болезнь сейчас же назад вернется.

– А ты куда же, Олеся? – спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

– Пойду... провожу немножко, – ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

– Пойдёшь-таки? – с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

– Да, и пойду! – возразила она надменно. – Уж давно об этом говорено и переговорено...

Мое дело – мой и ответ.

– Эх ты!.. – с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

– Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

– Пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

– Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!

– Ну перестаньте, голубчик... Забудьте это, – с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

– Нет, я ведь не в укор тебе говорю, – так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала – право, даже смешно и вспомнить – я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что всё это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

– И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! – горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

– Почему ты не хотела, Олеся? Почему? – спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

– Почему? Почему, Олеся? – твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

– Я не могла... Я боялась, – еле слышно произнесла Олеся. – Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь...

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуха, и вдруг ее руки быстро и крепко обвили вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

– Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

– Олеся, ради бога, не надо... оставь меня, – говорил я, стараясь разжать ее руки. – Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

– Не бойся, мой миленький, – сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. – Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану... Скажи только: любишь ли?

– Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но... не целуй меня больше... Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

– Ну так и не бойся и не думай ни о чем больше... Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет...

.....

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо-пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, – такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании*. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

– Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, – спохватилась вдруг Олеся. – Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

– Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

– Нет, нет... Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо...

– А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

– О да, непременно... Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама – я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, всё бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

– Это правда, Олеся. Это и со мной так было, – сказал я, прикасаясь губами к ее виску. – Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

– Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, – заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутае назад лицо, в ее большие черные глаза с блестящими в них яркими лунными бликами, – и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходить каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с большим удивлением находил, что Олеся – эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка – во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви – в прямом, грубом ее смысле – всегда есть ужасные стороны, составляющие мучение и стыд для нервных, художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Перебрوده были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки – стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже вообразить себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, – утешал я себя, – и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.